

Александр Иванович Куприн

Фиалки



Александр Куприн

Фиалки

«Public Domain»

1915

Куприн А. И.

Фиалки / А. И. Куприн — «Public Domain», 1915

Фиалки

Ф. Ф. Трозинеру

I

Начало мая. Триста молодых кадетских сердец трепещут, переполненные странными, смешными и трогательными чувствами: азартом, честолюбием, отчаянием, смертельным ужасом, надеждой на слепое счастье, унынием, тупой покорностью судьбе... Необычайной стала жизнь, вышедшая из привычных рамок сурового военного уклада, расчисляющего по командам и сигналам каждую минуту дня и ночи... Парты вынесены из классов в длинные рекреационные залы и расставлены по вкусам соседей, которые зимою ссорятся как пара каторжников, скованных короткой цепью, а теперь предупредительны, уступчивы и услужливы, точно молодожены. А иногда можно увидеть, что пять или шесть парт соединились вместе, образовав сомкнутую многоугольную фигуру бастиона, со стенкой сзади, в виде нерушимого тыла. Там заседает эгоистическая артель муравьев, работающая сообща и беспощадная к искательствам бездомных стрекоз.

И целый день зубрят, зубрят. Иные, закрыв пальцами глаза, уши и даже нос, как это делают трусливые купальщики, качаются взад и вперед в тягучей тоске. Первые ученики держатся твердо и уверенно, но и они побледнели и осунулись за эти страдные дни. Они хорошо знают, что пройдут блестяще, но все-таки копошится тревожная и завистливая мысль: «А вдруг? Вдруг не первым, а вторым?..»

Милые дети, первые ученики, украшение корпуса, гордость родителей. Вы не хуже и не лучше других детей. Но что значит первенство и праздное честолюбие в сравнении с тем, что мимо вас прошла еще одна весна юности? Конечно, придут и другие весны, которыми вы впоследствии, на досуге, будете комфортабельно и медленно наслаждаться, сознательно смакуя их прелести на севере и на юге хоть всех стран мира. Но никогда не вернется именно эта, эта самая весна, готовая буйно и щедро вторгнуться в ваши зоркие глаза, в разверстые ноздри, и чуткие уши, в ваши жадные, наблюдательные, девственные, ничем не запятнанные умы, вторгнуться и оставить там навеки доброе семя радости и красоты земной.

Того же самого мнения и семиклассник Дмитрий Казаков. Вернее сказать, у него столько же мнения о влиянии природы на человеческие души, сколько его у жеребенка, скачущего по зеленому лугу, у журавля, пляшущего и поющего на полянке, среди болот, страстную любовную песню, у годовалой лисицы, трепетно и осторожно нюхающей впервые из своей норы весенний волнующий воздух, у ручного кроткого верблюда, который вдруг становится весною страшным в своем любовном бешенстве.

Просто-напросто весна с ее колдовскими ароматами, вкрадчивыми чарами и мятежными снами обволокла его душу непонятной истомой и щекочущей бессознательной радостью, от которой хочешь и плакать и смеяться, и не знаешь, куда девать себя то от непомерного острого счастья, то от сладкой скуки. Разве мог бы Казаков сказать сам себе, почему прошлым летом, живя в имении, он – солидный шестиклассник, куривший почти открыто, басивший и лучше всех товарищей притягивавшийся к турнику на одной руке, – он вдруг, случилось, не мог преодолеть в себе безумного мальчишеского желания взять и помчаться диким галопом по высокой росистой вечерней траве, изгибая голову, брыкаясь, визжа и пьянея от острых запахов полыни, повилики, ромашки и клевера? И почему ночью, во время сильной грозы, он выскакивал из дому совсем голый, босой, торопливо просовывал ногу в ляжку гигантских шагов и один, под жестоким дождем, взмывал высоко к черному небу, к грому и молниям, дрожа от исступленного восторга, от беспредметного вызова, от пылкого ликования молодого тела?

Так и в эту весну он весь во власти таинственных грез, беспокойного смятения и раздражающего трепетания жизни. Где же тут учиться? Да и никогда он особенно не влезал в этот хомут. Быть средним по успехам или немного пониже – не все ли равно? На экзаменах можно овладеть своей волей, понатужиться – и все навестать. Но теперь он живет в странном очаровании, точно опоенный неведомым дурманом. Он просыпается, спешит к окну, садится на подоконник, и точно впервые, с новым удивлением – не говорит себе, а глубоко чувствует: вот синее небо, вот легкие сквозные облака, и трава, и деревья там, далеко за зданием. И ходит весь день вялый по огромному, вытоптанному многими тысячами ног корпусному плацу. Ложится на чахлую, жалкую, низкую траву и долго, как на сверхъестественное чудо, дивится на светливую, загадочную беготню муравьев, на цепь сплетшихся букашек, красных с черными пятнами, медленно ползущих между былинками. Читает по десяти раз подряд одну и ту же фразу и никак не может постичь: что такое здесь написано? И, отбросив книгу, ложится ничком, смотрит в бездонное небо до тех пор, пока от движения причудливых облаков сам не начинает медленно плыть куда-то, в вечное пространство, вместе с своими воздушными мыслями.

И вот наступает самое сладкое, самое тревожное, самое чудное – вечер. Стемнело. Едва-едва пламенеет тихая заря. Зеленые сумерки. Черны и резки контуры здания с их чуждыми теперь, пустыми, неосвященными окнами. Белые фигуры товарищей движутся, точно замороженные. Каждая веточка деревьев поразительно четка на небе, которое светлее земли. Гудят невидимые майские жуки. Стройная песня вдали. Смягченный смех и разговор. Самый обыденный звук доносится точно из другого мира. И все это, как пряное вино, вливается в каждую каплю крови и тихо-тихо кружит голову. Кто же это проходит сейчас через всю землю, незримый и неслышный? Чье дыхание подымает волосы на голове и ласкает щеку? Отчего вдруг стеснилось дыхание, и пересохло во рту, и слезы на глазах? Какое чудо должно случиться сейчас, через минуту, через мгновение?

Пора. Зовут спать. Летучие мыши низко и косо чертят черными зигзагами воздух и порою почти касаются лица... Я уйду туда, в скучные, серые стены, и без меня, без меня совершится под темным небом великое таинство!..

Послезавтра последние, самые страшные экзамены по математике, но зато сегодня такое чудное утро, точно на небе справляются именины. И Дмитрий решительно швыряет толстого Бремикера под парту. Сегодня он удерет и побродяжничает по запретному старому дворцовому парку. Он никого не возьмет с собою, никого! Пойдет совсем один.

За завтраком он ловко утягивает из-под руки зазевавшегося служителя лишнюю котлету и, сжав ее между двумя кусками черного хлеба, сует в карман. Может быть, он опоздает к обеду, но кому же из начальства теперь, в общее беспокойное и горячее время, придет в голову доискиваться, все ли налицо?

Труден путь до парка. На углу древнего, еще Петровского Потешного земляного бруствера торчит дежурный дядька, беспалый пан Пневский, придирчивый служака и вечный доносчик. Он не спускает своих бесцветных, оловянных, но точных солдатских глаз с той единственной дорожки, по которой можно ускользнуть: прорыв бруствера, затем кувырком с горы, рядом с зимним катком, потом еще шагов тридцать – сорок по открытому месту, до пруда, а там уже вдоль зеленого, густого, как ботвинья, пруда растут непроницаемой стеной корявые, дуплистые столетние ивы! Там незаметно.

Надзор бдительного дядьки берется обмануть верный товарищ. С лицемерной щедростью сует он пану Пневскому заранее припасенную утреннюю булку. У пана большая семья, и каждый кусок в ней не лишний. Затем закидывается коварная, но самая верная удочка: «На какой войне и в каком сражении пан Пневский лишился двух пальцев на правой руке?» Пан Пневский сначала недоверчиво косится. Он уже не раз клевал на эту соблазнительную приманку.

Но лицо спрашивающего так простодушно, а в славных наивных глазах так много живого участия, а сама тема рассказа о том, как пан Пневский, польский шляхтич, из красавца, силача и лучшего работника сделался калеккой, так неумирающе близка его сердцу, что – хватъ – и рыбка попалась.

А Казаков в это время мчится под верной защитой развесистых ив быстрее степного ветра. Он не может умерить своего бега до самого конца пруда и останавливается, только достигнув пригорка, на котором тесно столпились кусты бузины, волчьей ягоды и дикой жимолости. Здесь он передыхает и идет шагом мимо забытой кузницы, мимо заброшенной оранжереи с уцелевшими лишь кое-где мутно-радужными стеклами, легко перепрыгивает водяной ров и спускается к узкой, но глубокой речонке.

Вода в реке кажется черной, как чернила, от кустов, которые густо обступили его с обеих сторон и купают в нем свои свесившиеся длинные ветви. И пахнет она нехорошо от близости многих фабрик. Но другого выбора нет. Раздевшись с непостижимой скоростью, Казаков без раздумья, с разбегу бросается в воду, достигает ногами противного, коряжистого, скользкого, илистого дна, задыхается на мгновение, обожженный жестоким холодом, и ловко, по саженкам, переплывает речку без отдыха туда и обратно. И когда он, одевшись, взбирается медленно наверх, то с наслаждением чувствует удивительную легкость в каждом мускуле: точно все его тело потеряло вес, и, кажется, стоит сделать лишь самое незначительное усилие, чтобы отделиться от земли и полететь в воздухе, как большая птица.

И вот наконец он входит под высокие навесы парковой аллеи. Старинные липы, современницы Петра Великого, подарившего когда-то этот парк вместе с дворцом любимому вельможе, так сказочно, так невероятно высоки, что каждый человек, идя под ними, невольно чувствует себя маленьким. Здесь всегда зеленая полутьма и сыроватая прохлада. Лишь изредка там и сям на земле блещут, струятся и трепещут двойные солнечные кружочки, точно кто-то бросает сверху капризной рукой золотые монеты. И Казаков идет по широкой, тихой, величавой аллее, точно по пустому, безлюдному, холодному храму, куда он зашел случайно в жаркий полдень. Вот мраморная, изрытая временем львиная голова, точащая из пасти в плоскую чашу тонкую серебряную нитку воды. Казаков подставляет рот и с наслаждением глотает холодную сладкую влагу.

Но когда он отнимает рот, с которого падают светлые капли, то неожиданно его обоняния касается удивительный аромат – тонкий, нежный и упоительно скромный. Следя за ним, поворачивая голову в разные стороны, вдыхая воздух расширенными ноздрями, точно собака на охоте, он спускается вниз, в сырой, мокроватый овраг, куда ручейком стекает вода, переполняющая чашу. Чудесное открытие. Целый оазис наших милых, темных, маленьких северных фиалок, благоухающих, как нигде в целом мире.

Он осторожно, ползая на коленях, рвет цветы, стараясь их не мять, делает с бессознательным изяществом небольшой букетик, обворачивает его круглыми, влажными листьями и, наконец, обматывает ниткой, которую зубами выдергивает из казенного платка.

Но когда он опять подымается наверх, на полузаросшую травой дорогу, то невиданное, очаровательное зрелище заставляет его остановиться в немом восторге, почти в страхе. Прямо на него, посередине аллеи, медленно движется, точно плывет в воздухе, не касаясь земли ногами, женщина. Она вся в белом и среди густой, темной зелени подобна оживленному чудом мраморному изваянию, сошедшему с пьедестала. Она все ближе и ближе, точно надвигающееся сладкое и грозное чудо. Она высока, легка и стройна, и ее цветущее тело прекрасно. Ее руки со свободной грацией опущены вдоль бедер. Как царская корона, лежат вокруг ее головы тяжелые сияющие золотые косы, и кто-то невидимый осыпает сверху ее белую фигуру золотыми скользящими лепестками. Теперь она в двух шагах... Каждая черта ее молодого свежего лица чиста, благородна и проста, как гениальная мелодия. Взгляд ее широких глаз необычайно

добр, ясен и радостен. И цвет их странно напоминает те цветы, которые дрожат в руке неподвижного мальчика.

Но вот она со светлой улыбкой останавливается. И точно звуки виолончели, раздается ее полный, глубокий голос:

– Какие прелестные фиалки... Неужели вы здесь их набрали?.. Как много и какие милые.

– Здесь... – отвечает чей-то чужой голос из груди Казакова. И не он, а кто-то другой, окруженный розовым туманом, протягивает цветы и произносит: – Прошу вас, примите их, если они вам нравятся... Я буду...

Горло кадета суживается от волнения. Сердце бурно бьется. Глаза готовы наполниться слезами. И сказочная принцесса понимает его. Ее лицо озаряется нежной улыбкой и слегка краснеет. Она говорит ласково: «Благодарю», – и это простое слово звучит, как литавры в торжественном хоре ангелов. И изящным движением она прицепляет скромный фиолетовый букетик к своей груди, туда, где сквозь легкое палевое кружево розовеет ее тело. Она протягивает Казакову свою милую, теплую руку, пожатие которой так плотно, мягко и дружелюбно. И вместе с ароматом фиалок мальчик слышит какое-то новое, шелковое, теплое, сладкое благоухание.

Затем они говорят о пустяках, которые потом Казаков никогда не вспомнит. Остались в памяти лишь обрывки: в том училище, куда Казаков поступит, окончив корпус, она бывает ежегодно на рождественских балах, и сегодня вечером она уезжает за границу. Она спрашивает, как зовут Казакова, и неизъяснимой гармонией поет в ее устах имя Дмитрий.

Она первая отпускает его. Она смотрит на маленькие золотые часы, опять протягивает ему свою божественную руку и говорит: «До свидания. Мне очень приятно было встретиться с вами». Да, да, да! Она так и сказала – «до свидания»! И исчезает, как сказка, за поворотом аллеи.

А вечером, в спальне, Казаков долго не спит, лежа в своей кровати. Он прижимает крепко руки к груди и жарко и благодарно шепчет: «Господи! Господи!..» И в этих словах наивное, но великое благословение всему: земле, водам, деревьям, цветам, небесам, запахам, людям, зверям, и вечной благодати, и вечной красоте, заключенной в женщине... И потом он плачет долгими, радостными, светлыми слезами, которые никогда уже не повторятся в его жизни. И как бы потом ни сложилась его жизнь, со всеми ее падениями и удачами, дружбой и ненавистью, любовью и отвращением, – он всегда, даже в старости, – он, позабывший имена и лица любивших его женщин, – благодарно и счастливо улыбнется, вспомнив фиалки, приколотые к груди принцессы из сказки.

Потому что на его долю выпало редкое счастье испытать хоть на мгновение ту истинную любовь, в которой заключено все: целомудрие, поэзия, красота и молодость.